

ЭСХАТОЛОГИЯ СМЕРТИ В ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЯХ И. А. БУНИНА И М. М. ПРИШВИНА 1917–1919-Х ГОДОВ

Т. И. Скрипникова

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I

Поступила в редакцию 20 мая 2023 г.

Аннотация: в статье на примерах дневниковых записей анализируется мировоззрение писателей, выраженное в негативных оценках революции 1917 года и последующих за ней событий. В художественных размышлениях о судьбе русского народа в переломный для страны момент в центре внимания И. Бунина и М. Пришвина оказываются эсхатологические мотивы.

Ключевые слова: эсхатологические мотивы, революционная смута, духовное единство, народное многоголосье, театрализация смерти, инсценировка ритуального действия

Abstract: the article analyzes the worldview of writers, expressed in negative assessments of the 1917 revolution and subsequent events, using the examples of diary entries. In artistic reflections on the fate of the Russian people at a turning point for the country, I. Bunin and M. Prishvin focus on eschatological motives.

Keywords: eschatological motives, revolutionary turmoil, spiritual unity, folk polyphony, theatricalization of death, focus on staging a ritual action.

И. А. Бунин и М. М. Пришвин — не просто два великих писателя, творчество которых всегда актуально, «но два русских времени: прошедшее и будущее» [1]. На сходство и различие писательского пути нередко обращали и обращают внимание исследователи, сопоставляющие их в едином литературном пространстве. Так, современник и соратник по писательскому цеху К. Г. Паустовский писал: «Пришвин происходил из старинного русского города Ельца. Из этих же мест вышел и Бунин, точно так же, как и Пришвин, умевший воспринимать природу в органической связи с человеческими думами и настроениями» [2, 33]. Сам М. Пришвин в дневниках, изданных спустя много лет после его смерти, много раз упоминал о И. Буnine. Присутствие имени И. Бунина на страницах пришвинского дневника как современника, на наш взгляд, вполне закономерно. В 1943 году он записывает фразу, которая подытоживает все ранее написанное о Буnine и показывает всю глубину его признательности: «Вчитывался в Бунина и вдруг понял его, как самого близкого мне из всех русских писателей» [2, 34].

М. Пришвин всей жизнью своей был нацелен на меняющуюся современную Россию, которую пытался не столько понять, «сколько принять и которой служил если не он сам, то его любимые герои» [1]. Бунин до конца своих дней любил древнюю Русь, и чем древнее, тем она была ему дороже (неслучайно в «Окаянных днях» писатель цитирует своего любимого А. К. Толстого: «Когда я вспомню о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется

броситься на землю и кататься от отчаяния» [3, 110]. И. Бунин не принимал и до конца своих дней не принял Россию «большевицкую», советскую, где сплошь «теперь почти одни «проклятые монголы»» [3, 110].

И. Бунин и М. Пришвин прожили долгую и очень трудную жизнь, на их долю выпали страшные испытания революционной смуты, братоубийственной гражданской войны. Писатели были ровесниками, современниками и земляками из Елецкого уезда, росли в больших семьях, которые были близки с детства к крестьянской среде, поэтому не отделяли себя от русского народа, писатели учились в одной и той же Елецкой гимназии, которую оба не закончили. Действительно, в биографии писателей много схожего, однако наибольший интерес для нас представляет сравнение их литературного творчества. Важной темой, объединяющей писателей сходством оценок, мнений, становится революция, о которой И. Бунин и М. Пришвин написали немало горьких и страшных слов. Апокалипсические мотивы революционной смуты становятся ведущими в дневниковых записях И. А. Бунина и М. М. Пришвина 1917–1919-х годов. Основным средством их воплощения являются эсхатологические мотивы в текстах, в которых присутствуют повторяющиеся в пределах жанра или стиля темы, регулярно воспроизводимые элементы, связывающие дневниковые записи писателей. Уникальность сравнительного анализа художественного опыта писателей заключается еще и в том, что оба они становятся очевидцами бурных революционных событий, находясь в одинаковых топосах городов (Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы) и русской провинции Елецкого уезда. Так бунинские

и пришевские дневники, посвященные революции и гражданской войне становятся важными доказательствыми русского смутного времени начала XX века, объединяющими писателей.

Дневниковые записи М. Пришвина 1917–1919 годов, которые были недавно опубликованы, и И. Бунина этого же периода, позже вошедшие в «Окаянные дни», вовлекают в полемику, диалог; принцип монологичной интонации, часто присущий дневниковым записям, нарушается постоянным внедрением в текст «чужого голоса» (Бахтин), множества голосов, многочисленных диалогов, монологов, реплик или цитирований множества различных источников. Для писателей важно донести до читателей разноголосицу мнений, с одними из которых они категорически не соглашались, другие принимают, дополняя и развивая с помощью исторических и литературных аллюзий. Важно отметить, что, обильно цитируя прессу, как большевистскую, так и идеологически враждебную ей, будь то газета или журнал, писатели часто используют одни и те же источники. Например, часто встречаются следующие названия: «Голос красноармейца», «Набат», «Южный рабочий», «Русское слово», «Власть народа», «Новая жизнь», «Правда», «Воля народа», «Воля страны», «Сибирский страж», «Биржевая», «Советская газета», «Русские Ведомости», «Вестник Бедноты», «Центральные Известия», «Соха и молот», «Русское Богатство» и др.

Предметом нашего рассмотрения стали дневниковые записи М. Пришвина 1917–1919-х годов и «Окаянные дни» И. Бунина — художественные тексты, в которых предметом внимания писателей оказываются каждодневные события. Тексты дневников свидетельствуют о невозможности отделить в личностях писателей художника от публициста и поэтому составляют единое художественно-публицистическое целое. Писателям удалось трансформировать их индивидуальный жизненный опыт, мысли, суждения, оценки реалий прошлого и настоящего в общественно значимое явление, стать выразителями социальных, культурных и политических идей отраженной ими эпохи. Художественное пространство дневниковых записей И. Бунина и М. Пришвина определяется их историческим чутьем, которое выявляет эсхатологический смысл отображенных ими событий.

Вопросы, которые поднимают художники в 1917–1919-х годах, являются традиционными для русской истории и их времени и касаются темы, определившей духовную ситуацию в России в течение столетий — народ и интеллигенция. Изначально писатели принадлежали к разным лагерям русской интеллигенции. И. А. Бунин, не относящий себя ни к одной политической партии, категорически не принимал свершившуюся революцию, а затем пришедшую ей на смену гражданскую войну и новую власть большевиков. М. М. Пришвин же считал себя частью русской интеллигенции, судьба которой была связана

с революцией, однако задолго до революционных событий осознал трагическую сущность этого пути, впоследствии разочаровавшись в социал-демократии. К 1920-му году, что видно из дневниковых записей, он пережил «полное освобождение от большевизма» (Я. З. Гришина) [4, 480], рассматривая апокалипсическую смуту революции в русле религиозного сознания: «типологическое сходство марксизма (революции) и хлыстовства (сектантства) для писателя очевидно» [4, 480]. Таким образом, выбранные нами для анализа материалы доказывают не только родство мировоззренческих, идеологических контрреволюционных позиций писателей, но и показывают единство эсхатологических мотивов информационного пространства, к которому они принадлежали.

Алексей Варламов в статье «Двух соловьев поединок...» поразительно точно заметил: «Так вот если положить их (И. Бунина и М. Пришвина. — Т. С.) дневники рядом, то, отвлекаясь от определенной стилистики, иногда затрудняешься сказать, кто из них что писал — так много здесь горечи, отчаяния» [1]. И действительно, если отвлечься от особенностей повествовательной формы, от системы изобразительных приемов, лексико-семантической наполненности текстообразующих элементов, то останется идейно-тематическое единство, обнаруживающее внутреннее родство.

Как уже говорилось выше, помимо сходства мировоззренческих позиций, поражают текстуальные совпадения образов, сравнений, мотивов — совокупности устойчивых тематических, образных, композиционных, сюжетных элементов. Константной составляющей, объединяющей дневниковые записи И. А. Бунина и М. М. Пришвина, является эсхатологический мотив смерти, представляющий революционную смуту 1917–1919-х годов как апокалипсическое событие. Его главные герои, вершители и вожди, с величайшим энтузиазмом во имя высоких атеистических идеалов сокрушившие «старый мир», учинили деятельность, приведшую к апокалипсическому варианту осуществленной ими мировой катастрофы. В дневниковых записях 1917–1919-х годов писатели отобрали кризис общественных идеалов, показали неподлинное существование человека, оказавшегося в пограничной ситуации, выразили предчувствие надвигающейся катастрофы, показали рождение культуры, не испытывающей потребности в духовно спасительной христианской эсхатологии, сознательно ограничившей себя атеистическими потребительскими подходами к жизни и смерти. И. А. Бунин и М. М. Пришвин в дневниковых записях зафиксировали «ломку» человеческого сознания в эпоху атеистической революционной смуты — отобрали трагическое ощущение разлада человека с миром, с Богом, с самим собой, утрату православного эсхатологического смысла существования и ответственности за свою судьбу. Неслучайно

революция сравнивается писателями с Варфоломеевской ночью, в текстах приводится народное многоголосье: у Бунина в дневниках 1917–1918-х годов находим: “на сходке толковали об “Архаломеевской ночи” — будто должна быть откуда-то телеграмма — перебить всех буржуев” [3, 27], Пришвин призывает “собирать человека”, разбитого событиями “Халамеевой” ночи [6, 245].

В русле заявленной эсхатологической темы в нашей работе особо выделим дневниковые записи писателей со сценами похорон красноармейцев, погибших в дни Февральской революции, на Марсовом поле 23 марта (5 апреля) в Петрограде, которую подробно и не единожды освещают М. Пришвин и И. Бунин. Это событие стало крупнейшей в истории манифестацией революционного 1917 года, аналогичные «красные похороны», или «праздники свободы», совершались затем по всей стране. И. Бунин и М. Пришвин сцену похорон «жертв революции» описывают как некое театральное действие — «традиционное жертвоприношение» [3], совершаемое во имя революции, когда церковный обряд «честного христианского погребения» с хоругвями и колокольным звоном естественно заменяется на «самочинный порядок».

У И. А. Бунина в записях, датированных ночью на 24 апреля 1918 года, читаем следующее: «Я видел Марсово поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заключены в гробы почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых! Комедию проделали с полным легкомыслием и, оскорбив скромный прах никому не ведомых покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили ее буграми, натыкали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и зачем-то огородили ее дощатыми заборами, на скорую руку сколоченными и мерзкими не менее шестов своей дикарской простотой» [3, 112–113].

М. М. Пришвин описывает это событие дважды: 23 марта 1917 года в дневнике с пометкой «Похороны жертв революции» записывает: «Небывалое на Руси: самочинный порядок. Красный гроб, красные хоругви, безмолвие церковное... Знакомые места: Дворцовая площадь и 9 января 1905 г. <...> «Вечная память», похоронный марш и «Марсельеза», как волны: похоже на студенческую вечеринку нелегальную. Тишина на Садовой (ущелье). Марсово поле: бегут под «Марсельезу». Красные колонны — пустыньность — простота — земля — тайна церковных похорон заменяется массой народа, движения, страха перед давкой и т.д. И так же, как после похорон настоящих, швейцар говорит: «Порядок!» (театральное восхищение:

постоянство). Тут свои предания, своя история» [6, 386]. 14 июня 1918 года писатель вновь возвращается к этой теме: «Хоронили убитых на Сенной площади, как на Марсовом поле, против Народного дома ... Из буржуазных квартир вынесли цветы и сделали вокруг могилы каре из пальм, лавров и других вечнозеленых растений. Возле могилы венки с надписью: «Проклятье убийцам!» Диктатор при салютах из орудий и пулеметов говорил речь и клялся на могиле, что за каждую голову убитых товарищей он положит сто буржуазных голов. ... Вечером пригнали коров, которые опрокинули пальму. Пугнули старуху, а она: — Господи, вот так убьют и, как собак, заруют на Сенной площади» [4, 138].

Не лучше дело обстоит и с «праздниками» годовщин революции, которые, как и похороны, представляют собой некую пародию праздника, носящую поистине “балаганный”, карнавальный характер. Изображаемые писателями «празднования» проводятся так подчеркнуто грубо, непристойно и неправдоподобно, что подчас они смахивают на сцену похорон. «На улицах рассыпаны кучи желтого песка, будто могилы готовят, и еловые ветки везут, будто устилать путь покойника — собираются праздновать великую Октябрьскую революцию» [4, 257]. Неслучайно чаще всего они проходят без людей, без зрителей, которые, попросту уставшие от таких «спектаклей», во все происходящее уже не верят. «Опять праздник, — годовщина революции. Но народу нигде нет, и вовсе не потому, что опять нынче зима и метель. Просто уже надоедает» [3, 81].

Идея театрализации смерти, точно подмеченная И. Буниным и М. Пришвиным, была не чем иным, как идеологическим методом внедрения новых гражданских обрядов в жизнь простых людей для эмоционального воздействия, разработанным советской властью, с целью подмены православного обряда (панихиды) гражданским. В понимании вождей революционного пролетариата господствовала идея принципиального сходства религии с политической идеологией, которая использовалась диктатурой власти для управления поведением религиозно мыслящих масс. Догматизм новой идеологии позволял какое-то время скрывать революционную деспотию, подменять высокую мудрость православной эсхатологии идеологией террора. «Доверие к происходящему обеспечивалось и мимикрическими способностями господствующей идеологической доктрины, которая с успехом эксплуатировала эсхатологический опыт православия» [7, 39].

Однако вопрос о существовании принципиальной и сущностной эсхатологической разницы по понятным причинам тщательно скрывался и замалчивался. Прояснить его помогает доклад редактора влиятельного на тот момент литературно-художественного журнала «Книгоиздательство писателей в Москве» В. В. Вересаева, опубликованный в первом

номере журнала «Красная новь» за 1926 год [8]. Как известно, писатель сложился на грани двух эпох: он начал писать, когда потерпели крушение идеалы народничества, а в жизнь стало упорно внедряться марксистское мировоззрение. Сохраняя верность традициям критического реализма, во второй половине 1890-х годов В. Вересаев порывает с народничеством, в творчестве писателя чувствуется большая симпатия к революционному учению марксистов. Выступая в марксистских кружках, собирая у себя дома социал-демократов и активно поддерживая идею революционного переворота, он одним из первых начал писать о пролетариате [9].

Доклад В. В. Вересаева с недвусмысленным названием «К художественному оформлению нового быта» был прочитан на пленуме Государственной академии художественных наук 30 ноября 1925 года. В соответствующей докладу статье Вересаев, душа которого (как и любого «нового советского человека») «совершенно не принимает старых, религиозных обрядов», писал о проблеме «художественного оформления быта», о старых и новых обрядах, понимаемых как «условное действие, символически отображающее наше чувство» [8, 160]. Наиболее значительным и важным, «воспитывающим нас в направлении облагораживания и углубления этого чувства» [8, 161], автор считал похоронный обряд, который мыслится автором статьи строго «вне всяких религиозных и магических целей». В. Вересаев начал изложение проблемы с определения понятия «человек», базирующегося на сформировавшейся к этому времени (1925 год. — Т. С.) советской атеистической идеологии. По сути, оно служит важным показателем того, что на самом деле значил человек для новой власти, ее идеологов: «Для нас в настоящее время живой человек есть лишь известная комбинация физиологических, химических и физических процессов. Умер человек — данная комбинация распадется, и человек, как таковой, исчезает, превращается в ничто» [8, 162]. Подобное в дневниковых записях многократно встречаем у И. Бунина и М. Пришвина, например: «Народ, — сказал откровенно вождь большевистского социализма, — это скотина, которую нужно держать в стойле, это всякая сволочь, при помощи которой можно создать нечто хорошее для человека. Когда утвердится человек, мы тогда будем мягки и откроем стойла для всей скотины. А пока мы подержим ее взаперти» [4, 439].

Далее, с целью воспитания людей в «нужном направлении», «как это столетиями делала православная церковь», В. Вересаев предлагает направить присутствующим при погребении свои «чувства» к умершему «в определенное русло» [8, 163], чтобы не возникло убивающее человеческую душу «неоформленное» [8, 165] понимание. Под «нужным направлением» подразумевается в данном случае разработанная докладчиком идея театрализации

героической «жертвенной смерти во имя народного блага, сопровождающейся всеобщей людской памятью». Автор выдвигает важную «творческую» идею замены старой «церковной театральности» новой «бытовой театральностью» с целью «отвлечения людей» от «окаянного пережитка». Замена церковного обряда «театрализованной» инсценировкой, по мнению В. Вересаева, показывает ее «огромнейшее психологическое и агитационное значение» [8, 163]. При этом докладчик горько сетует на то, что данное «творчество» вызывает столь малый вдохновенный интерес и «позыв» среди творческих личностей, обвиняет их в отсутствии желания создавать все больше новых обрядов.

В соответствии с театральными сценическими канонами древне-эллинической трагедии В. Вересаев предлагает «оформить», «облагородить и углубить», на деле подменить православную панихиду с ее главной молитвой «Со святыми упокой» (о тлене и печали бренного мира) театрализованным представлением со сценическим гимном и действием — участием девушек «с зелеными ветками, в белых одеждах». «И нужно, — это уже обязательно нужно, — чтобы было известное драматическое «действие» с переключкой полухоров, с монологами корифеев. И все это должно быть гениально просто, очень легко для исполнения, — и музыка, и слова, и весь погребальный чин, чтобы его без большого труда и подготовки могли исполнять сами участники похорон. Это тоже очень важно. Мы слишком оторвались от первоначальных волевых, действенных истоков искусства, слишком во всем привыкли к роли зрителя. Из пассивного наблюдателя присутствующий на похоронах должен стать активным их участником. Раньше со всеми обрядами так и бывало. У диких в похоронных плясках участвовали все присутствующие» [8, 167].

Так, для создания ритуала нужно определенное «действие», наполненное торжественными, величавыми гимнами, в которых художественно закрепленные слова были бы соединены с волнующей музыкой, «величавою, торжественною песнью во славу жизни». Но гимны должны быть «новые, — не прежние» [8, 166], говорящие не о бренности и суете жизни, а наоборот, «благовествующие» жизнь, показывающие, «как милы и прекрасны люди вокруг, как прекрасна и интересна жизнь, как сладко творить и работать для нее... Вот чему может учить людей смерть, и вот о чем должны говорить новые похоронные гимны» [8, 166]. Но самое главное, по мнению Вересаева, для красоты театрального действия должны быть задействованы «девушки с зелеными ветками, в белых одеждах, — символ слиянно-цветной, всецветной жизни на фоне черного траурного крепа смерти. Может быть, и курения нужны <...> Цветы, конечно, и, конечно, цветы без запаха...» [8, 167].

В качестве образца обряда для «будущих творцов» Вересаев приводит описание сентиментальной

и мистической гражданской панихиды в сцене отпевания героя Миньоны из произведения Гете «Вильгельм Мейстер». «Обстановка тут немного оперная, на гимнах — некоторый налет совершенно нам уже чуждой сентиментальности и мистичности, но в основном настроении и планировке всей панихиды много такого, чему и нам следовало бы поучиться» [8, 168].

Главной целью своего доклада (статьи) Вересаев считает намерение убедить художников, любую творческую личность в том, что обряд вовсе не есть нечто «ветхозаветное», что он — только средство, через которое можно выражать самые разнообразные настроения, будь то «похороны, крестины, венчание», и что создание новых обрядов для будущего художника — «задача грандиозная, на которую стоит потратить свои силы» [8, 176].

Статья В. Вересаева в контексте изучения дневниковых записей И. Бунина и М. Пришвина 1917–1919-х годов чрезвычайно важна для выявления сути проекта «новой религии», отрицающей Божественную природу человека и эксплуатирующей отмененную революцией православную традицию. Подобные примеры «вывернутого наизнанку христианства» (еписк. Варнава (Беляев)) детально показаны в указанных дневниковых записях писателей.

Программными для новой власти положениями становятся упрощенность, обыденность, «применение в быту», нивелирование эмоционального переживания смерти как события, нацеленность на театральную инсценировку ритуального действия, отображающую процесс перехода человека в мир иной. И поэтому абсолютно закономерно, что в художественных размышлениях о судьбе русского народа в переломный для страны момент в дневниковых записях в центре внимания И. Бунина и М. Пришвина оказывается эсхатологический мотив. Феномен смерти рассматривается художниками в период «нового

времени», характеризуемого неверием в «подлинное бытие» человека, в возможность его онтологического прозрения и в вечную жизнь бессмертной души. Присутствующий в дневниковых записях писателей эсхатологический мотив смерти» (тела, души, мира) на фоне показанной ими всеобщей диктатуры атеизма приобретает все более явные онтологические характеристики в русле христианской аксиологии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Варламов А. Н. «Двух соловьев поединок...»: (И. А. Бунин и М. М. Пришвин: точки сближения и разделения) / А. Н. Варламов. — Подъем, № 5 / 2001. — С. 164–190. (URL: <http://podyom.ruspole.info/node/1669>; дата обращения: 15.03.23.)
2. Пришвин М. М. Собрание соч. в 8 т. — Т. 8. / М. М. Пришвин. — М., 1986. — 759 с.
3. Бунин И. А. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи / И. А. Бунин. — М.: Советский писатель, 1990. — 416 с.
4. Пришвин М. М. Дневники. 1918–1919 / М. М. Пришвин; Коммент. Я. З. Гришиной. — СПб.: Росток, 2008. — 560 с.
5. Риникер Д. «Окаянные дни» как часть творческого наследия И. А. Бунина / Д. Риникер // И. А. Бунин: pro et contra / Сост. Б. В. Аверина, М. Н. Виролайнена, Д. Риникера. — СПб., 2001. — 1015 с.
6. Пришвин М. М. Дневники. 1914–1917 / М. М. Пришвин / Коммент. Я. З. Гришиной. — СПб.: Росток, 2007. — 608 с.
7. Цветова Н. С. Эсхатологическая топика в русской традиционной прозе второй половины XX — начала XXI вв.: автореферат дис. ... доктора филол. наук: 10.01.01 / Цветова Наталья Сергеевна. — Архангельск, 2011. — 47 с.
8. Вересаев В. К художественному оформлению быта. (Об обрядах новых и старых) / В. Вересаев // Красная новь. — 1926. — № 1 (Январь). — С. 160–177.
9. Русская литература XX века, под ред. С. А. Венгерова. — М.: Мир, 1914. — кн. 11.

Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I

Скрипникова Т. И., к. филол. н., доцент кафедры русского и иностранного языков

E-mail: skripnikova77@rambler.ru

Voronezh State Agrarian University named after Peter the Great

Skripnikova T. I., Associate Professor of the Department of Russian and Foreign Languages

E-mail: skripnikova77@rambler.ru